КОНЬКИ

У бабули я бываю наездами, и каждый раз это словно возвращение в детство. Старый двухэтажный двухподъездный дом на окраине Автозавода, построенный методом «народной стройки» в 50-х годах прошлого века, кренится, ветшает, но продолжает стоять памятником ушедшей молодости нескольких выросших в нем поколений. Наверное, его боится время… На чердаке все так же воркуют голуби. Стены светят теплым, грязно-желтым с потеками, обманывая непосвященного своим убогим видом: вроде ткнешь кулаком и развалятся, а попробуй, разбей их! Известковое молоко и шлакоблоки плюс время – крепче камня! Да и весь дом – приземистый, коренастый, с подслеповатыми окошками с тех еще времен, когда все окна были деревянными; с низенькой лавочкой у подъезда и неизменной рыжей кошкой, свернувшейся на ней калачиком; с крашенной в тридцать слоев лестницей в вымытом подъезде, с ковриком для ног на входе, с пожженными первыми подростковыми сигаретами перилами – напоминает мне крепкого старика, обладающего завидным здоровьем. И вроде не скажешь по нему, что давно за шестьдесят. Но нет – издалека видна его крыша с ржавыми потеками, стены выщерблены, как после выстрела картечью, а в одном месте торчит бельмом пластиковое окно, оскорбляя своей неестественной зубной рекламной белизной благородное старение дома. Моего дома.

Ловлю себя на мысли, что ищу домофон, но вспоминаю, что его здесь нет, и, потянув за ручку шаткую дверь, попадаю в полумрак, пахнущий сыростью, кошками, известковой побелкой.

На площадке стоит дородная тетка в старом халате, в платке, с тазом, полным белья.

– Здрасьте, теть Лен.

– Здорово! К бабуле, чай?

Я киваю, вспоминаю торчавшую у забора бельевую палку и понимаю маневр. Да, здесь сушат свежевыстиранное белье на улице, подпирая веревку, один конец которой привязан к столбу, а другой – к соседской вишне, бельевой палкой – длинной, тяжелой, с острой выемкой на конце. А когда собирается гроза, нужно бежать, чтобы успеть схватить белье до того, как оно плюхнется в грязь или его посыпет поднятой ветром дорожной пылью.

Поднимаюсь по лестнице, и каждый шаг отзывается в сознании воспоминанием. Двадцать семь ступенек: тринадцать – в нижнем пролете, четырнадцать – в верхнем. По числу прожитых мною здесь лет.

На втором этаже светло. Волны света свободно проникают сквозь огромное окно. Я замираю перед железной лесенкой, ведущей с площадки на чердак, трогаю ее заскорузлые от времени края, и в памяти оживает детское приключение – поход на чердак, полный голубей. Потом поворачиваюсь к нашей двери, провожу рукой по ее окрашенной поверхности, чувствуя прохладу, стираю пальцем пыль с таблички с номером шесть и нажимаю звонок. Жду. Вспоминаю. «Ключ под ковриком» – такие записки оставляла мне бабуля, если уходила в магазин до того, как я возвращался из школы…

Слышу за дверью ее неуверенные шаги. Оживает и шевелится замок.

Я учу своих детей не открывать чужим и всегда интересоваться «кто там». Решаю сказать об этом бабуле. Ведь время волшебной сказки моего детства давно ушло, пришло другое – жестокое.

Дверь распахивается, и я сразу обо всем забываю. Счастье переполняет меня. Переступаю порог и понимаю, что не ушло то время. Здесь оно – притаилось за дверными косяками, притихло, а теперь лезет наружу запахами жареной картошки, солнечными лучами, карандашными пометками на косяке с годами моей жизни, вопит моим голосом: «Бабуля! Я приехал!»

Она всплескивает руками, обнимает меня, потом начинает суетиться –   
быстро уходит на кухню, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. Оладушки. Блинки. Картошечку на постном маслице из стеклянной бутылки с жестяной пробочкой, которая стоит в «холодильнике» – нише в стене под окном на кухне, где через дырочки видно улицу и соседский огород.

Я забываю, сколько мне лет, и, пока бабуля не видит, начинаю дурачиться. Разбегаюсь и скольжу по крашеным оранжевым глянцевым доскам пола из большой комнаты в маленькую, где из окна виден мостик через речку и ряд тополей, а над ними в голубом небе рассыпаны перьями мелкие белые облачка, перечеркнутые конденсационным следом самолета. Комнат всего две, они крошечные и расположены трамвайчиком. Кажется, раньше они были больше… Во мне теперь метр восемьдесят роста. Но я помню, как однажды, разбежавшись точно так же, врезался носом в чугунную батарею отопления… А вот розетка, таких уже давно нет в продаже и не может быть – круглая, из тяжелой хрупкой черной пластмассы. В нее однажды пролезли маленькие пальчики моей детской руки. Странно…

За стенкой у соседей раздаются позывные Олимпиады, с которой не улетит гигантский Мишка. Время не то, и год уже давно не тот. Но я включаю старенький бабушкин черно-белый телевизор. Пока он греется, потрескивая лампами, рассматриваю уложенные на полках мои старые игрушки, прореженные двоюродными сестрой и братом. Десятая часть былого великолепия! Комментатор из динамика бодро рапортует о спортивных успехах. Под его стрекотание переставляю оловянных солдатиков, поставленных на вечный пост в картонной коробке. Через сколько игрушечных сражений прошли мы вместе в былые дни! А вот и мой черный пистолет с пружинками в двух стволах, куда за неимением зарядов (палочек с присоской на конце) вставлялись карандаши. Так весело было: бац! – и рушится пирамида, составленная из цветных кубиков.

Рев трибун заставляет меня вернуться в настоящее. Сине-серое окно в мир отражает спортивные страсти, но они меня не трогают.

Я ем картошку прямо со сковороды, а бабуля смотрит на меня своими добрыми глазами ангела. В последние два года она сильно постарела. Во всем – в походке, движениях, взгляде – появилась неуверенность. Она словно боится, что не справится с чем-то. По подоконнику стучит капель февральской оттепели. Но бабуля прибавляет газ в «титане» – пузатом монстре, у которого в чугунном паху горит голубой огонек, а стальное чрево наполнено кипятком. Он стоит там же, где был всегда – в углу кухни на маленьких кривых ножках, честно отапливая дом моего детства.

В батареях булькает. Бабуля щупает их рукой и кивает головой:

«Тепло».

Ловлю себя на мысли, что раньше никогда толком не рассматривал бабулю. В моем сознании она была голосом и теплыми руками, которые поддержат, накормят. Я всегда торопился. Получал помощь и бежал дальше. Сейчас она сидит рядом и подслеповатыми глазами пытается рассмотреть происходящее на экране. Ее губы шевелятся, когда она читает титры.

Вспоминаю то ли сон, то ли быль. Я стою у ледяной горки. Вместо санок у меня в руках крышка от унитаза – мой скоростной болид, прокатиться на котором мечтала вся местная детвора. Идет снег. Много снега. Он очень плотный и словно пропитан светом. Светлый снег. За ним даже не видно дома. А бабулю видно. Она маленькая. В огромных валенках, в скромной искусственной шубейке из сельмага, подхваченной армейским ремнем, в залатанном коричневом платке. Ее голос звонкий, а глаза полны энергии. Теперь все не так. Бабуля быстро устает, часто садится и молча сидит, держась рукой за сердце, и на ее лице, состоящем почти полностью из морщин, написано страдание. Ее седые волосы выбиваются из-под огромного гребня из коричневой пластмассы. Она пристально рассматривает фигуристку, скользящую по льду огромного далекого стадиона. Та выписывает немыслимые пируэты, а потом прыгает, заставляя бабулю ойкнуть и расплыться в улыбке. С благополучным приземлением!

Я глажу бабулину ладонь – большую, теплую, шершавую, крестьянскую. Эти руки вынянчили меня, моих двоюродных сестру и брата. Руки подрагивают. Я понимаю, что они устали. Я не знаю, как им помочь. Просто глажу их. Бабуля не замечает, она слишком увлечена фигуристами. Как раньше, когда не пропускалось ни одной спортивной трансляции. С младых ногтей я знал, что тулуп – не обязательно одежда, а тройной – не обязательно одеколон. Смешно… Она высвобождает ладонь из моей руки и проводит ею себе по лбу. Ловлю ее взгляд и сразу понимаю, что ее душа не на месте. Миг – и бесцветно-голубые, выцветшие от времени бабулины глаза становятся влажными. Что? Что расстроило тебя, моя родная?

– Наташа! – говорит она, указывая рукой на экран.

По льду скользит фигуристка. Светловолосая и белокожая. Совсем еще юная. «Айседора…» – успеваю прочитать в телевизоре. Кажется, бразильянка. Камера крупно берет лицо, и я разеваю рот от удивления.

«Наташа!»

Крупные черты лица, славянские глаза, вздернутый курносый нос, большие пухлые губы! Какая Бразилия? При чем здесь Бразилия? Ведь это улыбка нашей Наташи! Когда ей было 17 лет, как этой фигуристке.

Бабуля поворачивается ко мне и делает отчаянные знаки руками:

– Наташа!

Наташкины детские коньки висят на гвоздике в прихожей, под слоем из старых пальто, спрятанные от глаз. Это я убрал их два года тому назад, когда моя двоюродная сестра, не сумевшая справиться с тягой к спиртному, не вышла из очередного запоя. Коньки почти новые, из белой кожи, с блестящими лезвиями. Их радостный блеск показался мне тогда неуместным. С глаз долой – из сердца вон! Наташе было всего 25. Врачи сказали, что у нее отказала печень. За год до этого в пьяной драке зарезали моего двоюродного брата. Так пресеклась одна веточка моего рода. Может быть, не самая лучшая, но не менее других достойная иметь свое продолжение.

Дети – эгоисты, внуки – вдвойне эгоисты. Им сложно понять, что бабушка может любить кого-то не меньше, чем их. Но для бабули все мы были равны, она щедро отдавала нам свое тепло. Смерть брата подкосила ее физически, смерть сестры нанесла удар по ее душе.

– Наташа! – повторяет она, показывая на экран; слабая голубизна ее внезапно просохших глаз подергивается туманом.

– Это Наташа! – убеждает она меня. – Да! Это она!

Ее движения становятся судорожными. Она гладит рукой экран старенького телевизора «Родина», где сейчас парит надо льдом ее внучка.

– Это она! Посмотри!

Сходство действительно поразительное. Настолько, что на мгновение я сам начинаю верить. Но разум вытаскивает из самого дальнего угла памяти заросший травой и цветами могильный холмик и крест с фотографией. Где сейчас наша Наташа? Бог весть. Но я точно знаю, где лежит ее прах.

– Это Айседора, – спокойно говорю я, сжимая бабулину руку в своей.

Она вдруг слабеет, стареет прямо на глазах, гнется, как сорванный полевой цветок. Присаживается на табурет, склоняется над столом. Потом поднимает голову и еще раз пристально смотрит на экран телевизора.

– Айседора, – повторяет она за мною.

Трогаю венку у нее на запястье и чувствую, как колотится ее сердце. Как голубь, пойманный однажды в детстве на чердаке.

– Айседора? Да, она теперь Айседора! Она же уехала… – бабуля пытается что-то сказать, ее мысли путаются, но я крепко держу ее за руку.

Она склоняет голову еще ниже, пока не упирается лбом в мою ладонь. Я осторожно глажу ее по седым волосам и понимаю, что всё. Она вернулась.

У нее тоже есть своя волшебная сказка, как моя о детстве. В ней все мы живы-здоровы, все мы успешны. Она не виновата в том, что ее вера в эту сказку сильнее её самой. Может, виновато время, лишившее ее сил, или обстоятельства? Или никто ни в чем не виноват? Так сложилось. Так случилось. Жизнь прожита, ничего не изменить.

Я чувствую, как моя рука под бабулиным лицом наполняется теплой влагой. Вчера моя дочь, ударившись коленкой, точно так же прижалась к ладони, и ее слезы текли сквозь мои пальцы горячим и влажным. Но быстро просохли. Все проходит, включая боль.